

Книга-эпоха

Александр Зиновьев Советская эпоха. Исповедь отщепенца

«Алисторус» 2019

Зиновьев А. А.

Советская эпоха. Исповедь отщепенца / А. А. Зиновьев — «Алисторус», 2019 — (Книга-эпоха)

ISBN 978-5-907211-72-8

Александр Александрович Зиновьев – писатель, социолог, публицист, один из самых значительных русских мыслителей конца XX – начала XXI века. Выходец из бедной крестьянской семьи, участник войны, Александр Зиновьев был настроен критически по отношению к общественно-политическому строю в СССР, и в 1978 году был выслан из страны. Вернулся он в Россию лишь в 1999 году, в последние годы переменив свою точку зрения на советскую эпоху. Он по-прежнему видел ее недостатки, но также отмечал многие особенности, которые вывели советскую цивилизацию в число передовых. В книге Александра Зиновьева советская эпоха показана на фоне жизни самого автора и его семьи: революция, коллективизация, сталинизм, репрессии, война, послевоенная обстановка в стране, последующие годы, – и вместе с тем глубокий анализ советской действительности. Книга читается с неослабевающим интересом от первой до последней страницы, удачно сочетая в себе черты приключенческого романа и научного трактата.

УДК 82-84 ББК 63.3

Содержание

Предисловие	5
Исповедь отщепенца	6
В медвежьем углу	14
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Александр Зиновьев Советская эпоха. Исповедь отщепенца

Моей матери Зиновьевой Апполинарии Васильевне, великой русской женщине, посвящаю эту исповедь

Предисловие

Эта книга была написана в 1988 году и опубликована во Франции и Швейцарии в 1990 году. Здесь она печатается с некоторыми сокращениями и исправлениями. Хотя книга писалась в то время, когда в Советском Союзе уже началась перестройка, я сознательно избегал говорить на эту тему. Цель книги была (по договоренности с издателем) описать, почему я стал писателем, автором «Зияющих высот», и почему оказался в изгнании на Западе. Фактически книга вышла далеко за рамки этой цели: она оказалась описанием того периода русской истории и тех явлений русской жизни, в которых вызревала перестройка.

Еще в довоенные годы я, скрываясь от всесильных органов государственной безопасности, в состоянии полного отчаяния сочинил такое стихотворение:

Настанет Страшный суд. Нас призовут к ответу. Велят заполнить за прожитое анкету. И в пункте, из какой земли и из какой эпохи, Двадцатый век, Россия, — будут наши вздохи. От слов от этих Богу станет гадко. Опять проклятая российская загадка! Нельзя пускать их в рай, двух мнений нету тут. Их души тяжкий грех в себе несут. Но как же быть?! В какой впустить их край?! После России им и ад покажется как рай.

Прошло почти шестьдесят лет после этого. Но я и сейчас взял бы это юношеское стихотворение эпиграфом к этой книге.

Мюнхен, 1998

Исповедь отщепенца

Исповедь

Существуют различные формы мемуаров. Среди них можно выделить одну, которую можно назвать словом «исповедь». От других форм она отличается тем, что главным предметом внимания являются не приключения автора, а его размышления и переживания, и не хроникальное описание отдельных событий, а анализ потока жизни, в который был вовлечен автор.

Исповедь не есть автобиография, написанная для каких-то официальных и справочных целей. Не все, что случалось с автором, попадает на ее страницы. А то, что попадает, описывается не всегда в том виде, в каком это мог бы и хотел бы увидеть посторонний наблюдатель, и без тех пикантных деталей, какие любопытно было бы узнать читателю. Это происходит не потому, что автор хочет изобразить себя в наилучшем виде или ввести в заблуждение читателя, а в силу особенностей самой формы исповеди. В моей исповеди, в частности, сыграли роль такие сдерживающие причины.

В моей жизни случались события, о которых я не буду рассказывать никому и никогда. Часть из них касалась не только меня, но и других. Я связан по отношению к ним обетом молчания и священной тайны. О других мне больно или стыдно вспоминать. Я умалчиваю о них не из страха показаться грешником. Такого страха у меня нет. Я готов признать греховность всей моей прожитой жизни. И упоминание о нескольких мелких грехах вряд ли изменило бы общее впечатление. Я умолчу о таких грехах из чисто вкусовых соображений. Я считаю просто неприличным говорить о них, как считаю неприличным рассказывать о приключениях в туалете или в кровати. Если хотите, я просто старомоден, причем из принципа.

Мне часто приходилось наблюдать и испытывать на себе проявление самых гнусных качеств человеческой натуры. Многие люди причиняли мне зло. Я очень рано постиг, что именно имел в виду Лермонтов, когда в одно из самых прекрасных в русской литературе стихотворений включил слова «друзей клевета ядовитая». Но сам я не рассматривал в качестве личных врагов даже тех, кто по долгу службы или по призванию писал на меня доносы, клеветал, преследовал, чинил всяческие неприятности. Я никогда на личное зло не отвечал злом. Я знаю, что самим фактом своего существования и деятельности я вызывал раздражение и негативные эмоции у многих людей. Но этот аспект жизни не подлежит моральной оценке. Я всегда смотрел на зло, причиняемое мне людьми, как на проявление свойств самого строя жизни людей, использующего их лишь как свои орудия. В противоположность тем, кто персонифицирует социальные причины, я впадал в другую крайность — социализировал даже такие поступки людей, которые были продиктованы индивидуальными страстями. Моим главным контрагентом с ранней юности была социальная система моей страны. И лишь во вторую очередь моими контрагентами были люди, олицетворявшие систему.

В моих личных отношениях с людьми я стремился предоставить им все преимущества. Так и в этих мемуарах я не хочу изображать себя в качестве доброй жертвы злых людей и плохих обстоятельств. Наоборот, я готов признать себя негативным явлением в породившем меня позитивном социальном окружении. Я готов признать нормальным мое социальное окружение, а себя – отклонением от нормы. Я не горжусь этим, но и не сожалею о том, что так произошло. Как в прожитой жизни я уступал дорогу всем, кто считал, что я мешаю им идти, и избирал другой путь, на который не претендовал никто, так и в этих мемуарах я не хочу сводить счеты с теми, кто причинял мне зло. А это и означает умолчание о многом таком, что могло быть поводом для мести. Исповедь есть признание и покаяние, но не месть. Конечно, я не мог пол-

ностью избежать такого рода описания, так как без этого были бы непонятны некоторые важные явления моей жизни. Но я свел их к минимуму и лишил их драматического смысла, какой они имели в свое время.

Отношение к фактам личной жизни

Я никогда не думал, что факты моей личной жизни могут для кого-то представлять интерес, кроме разве что советских карательных органов и лиц, желающих причинить мне зло. Поэтому я никогда не стремился афишировать их и даже запоминать. Многие из этих фактов были такого рода, что память о них причиняла страдания, и я преднамеренно стремился забыть о них. Я избегал засорять память незначительными пустяками, какими мне казались явления моей личной жизни, полагая, что мои интеллектуальные возможности я мог использовать для дел гораздо более важных. То, что так или иначе оседало в моей памяти, касалось в основном не лично меня, а окружающих меня социальных феноменов. Постепенно это стало чертой моего литературного и вообще жизненного вкуса. Мелочный педантизм в отношении к фактам личной жизни стал вызывать у меня отвращение при чтении сочинений других авторов, и я перенес это на самого себя.

Общеизвестно, что память человека не подчиняется правилам логики. Она не классифицирует события его жизни как существенные и несущественные и не отдает предпочтения первым. Я, например, помню до сих пор номер телефона, по которому мне пришлось звонить первый раз в жизни еще в 1933 году, но не помню номер телефона своей собственной квартиры, в которой жил много лет в Москве. Я помню номер винтовки, которую мне вручили в 1940 году в армии, но не помню названия и расположения населенных пунктов, в которых мне приходилось бывать во время странствий в 1939–1940 годах. Я помню имя коня, которого мне дали по прибытии в кавалерийский полк. Но я не смог в течение многих месяцев, пока писал книгу, вспомнить имя парня, с которым делился куском хлеба и сокровенными мыслями и который доносил обо мне в Особый отдел полка. Так что если строго следовать тому, что застряло в памяти, то объективная картина жизни не может получиться даже при наличии искреннего намерения быть объективным. Потому систематизированный анализ прошлого с точки зрения конечных результатов жизни мне представляется более надежным средством объективности, чем фрагментарное припоминание разрозненных деталей потока жизни.

Кроме того, у меня есть и принципиальное соображение относительно отбора фактов личной жизни для предания их гласности. Оценка фактов жизни как значительных или незначительных зависит не столько от того, какую роль они на самом деле сыграли в жизни автора, сколько от того, какой вес им придается общественным мнением в нынешней ситуации. Если автор поддается влиянию общественного мнения, он так или иначе вынуждается на путь создания ложной картины своей собственной жизни. Например, я очень рано стал антисталинистом. Разумеется, мне было кое-что известно о сталинских репрессиях в то время. Но не так уж много. Основная информация об этом стала доступной лишь в послесталинские годы, когда мой антисталинизм потерял для меня смысл. Зная, какое значение сейчас придается этим репрессиям в описаниях советской истории и советского общества, я мог бы на эту тему написать много десятков страниц. И тогда для читателей мой антисталинизм сегодня показался бы совершенно обоснованным, само собой разумеющимся. Но это была бы грубая историческая ложь. В формировании моего антисталинизма факты репрессий не играли почти никакой роли. Я был сам подвергнут репрессии за мой антисталинизм, сложившийся совсем по другим причинам. Те гонения, которым я подвергался за мой антисталинизм, не добавили абсолютно ничего нового в мои умонастроения. Более того, я не воспринимал их как несправедливость. Факты личной жизни, способствовавшие формированию моих антисталинистских умонастроений, в глазах современного общественного мнения выглядели бы настолько ничтожными, что упоминание о них вызвало бы лишь недоверие и насмешку. Кто, например, примет всерьез то, что моя фамилия – Зиновьев – внесла свою долю в это. Меня за нее в детской среде постоянно называли «врагом народа», вынуждая уже в детских играх на роль человека, противостоящего коллективу и всему обществу. В реальной истории порою огромные причины проявляются в ничтожных фактах, а грандиозные факты проявляют ничтожные причины.

Отношение к бумагам

Я никогда не вел дневников и не хранил личных документов, кроме самых необходимых. Порою я оказывался в ситуациях, когда касающиеся меня документы исчезали или мне самому приходилось уничтожать их или фальсифицировать, чтобы уцелеть. Я не был уверен в том, что проживу достаточно долго. Было несколько случаев, когда моя жизнь могла оборваться помимо моей воли. Да я и сам не раз задумывался над тем, чтобы покончить с жизнью, становившейся тогда невыносимо тяжелой и терявшей всякую ценность. Мне тогда грезилась мрачная картина, как после моей смерти чужие люди выбрасывают на помойку оставшийся от меня бумажный хлам, и эта картина удерживала меня от накопления бумаг всякого рода. К тому же мне время от времени приходилось уничтожать накапливавшиеся рукописи в интересах самосохранения. Тот архив, который все-таки образовался у меня в Москве, был главным образом научного и литературного характера. Он частично пропал, частично попал в лапы органов государственной безопасности, частично оказался так хорошо спрятанным, что я лишился доступа к нему.

Моя жизнь складывалась так, что я чуть ли не до пятидесяти лет не имел не то что своего рабочего кабинета, но даже письменного стола. Принцип «все мое ношу с собой» был для меня не фигуральным латинским изречением, а практическим правилом жизни. Я воспринимал свою жизнь как непрерывный поход. Каждая вещь, которая мне не казалась жизненно необходимой, действовала на меня как излишний груз, и я безжалостно расставался с нею. Это целиком и полностью относилось и к бумагам. Порою это даже принимало патологические формы. Однажды я был в гостях у моего знакомого, опубликовавшего несколько статей и брошюру по социологии. Он мне показал шкафы, битком набитые документальными материалами, которые он собирал в течение многих лет и на основе обобщения которых сочинил свои статьи и брошюру. Вернувшись домой, я уничтожил до последнего листочка все те материалы, которые я собирал, работая над своей социологической теорией. На другой день я пожалел об этом: кое-какие материалы пришлось добывать заново, причем уже с гораздо большими усилиями.

При написании этой книги я использовал свою память и мои собственные опубликованные сочинения, написанные точно так же по памяти. Публикуя их, я никогда не претендовал на то, чтобы занять какое-то место в бесчисленной армии советологов, политологов, социологов и прочих лиц, так или иначе занятых проблемами советского общества и вообще коммунизма. Я просто сообщал моим потенциальным читателям то, что мне в течение моей жизни удалось лично узнать о советском обществе и коммунизме, наблюдая и изучая его непосредственно, как эмпирически данное явление. Поэтому в моих книгах и статьях полностью отсутствует то, что в науке принято называть «научным аппаратом» и что должно свидетельствовать об эрудиции и компетентности автора. Я это делал не из пренебрежения к другим авторам, писавшим на темы о коммунизме, а просто в силу условий моей жизни и работы, далеко не благоприятных для научного педантизма. Я просто не имел возможности обзавестись таким «научным аппаратом». Да он мне и не требовался. Во время жизни в России материал для наблюдения был в изобилии перед моими глазами. Работы других авторов, которые мне приходилось читать, ничего не давали мне для понимания этого материала или даже мешали, отвлекая внимание в направлении проблем, чуждых изучавшемуся мною материалу.

В этой книге точно так же будут отсутствовать ссылки на источники и документы, обычные в мемуарной литературе. Это, конечно, большой недостаток книги. Но я, к сожалению,

не мог его избежать. Я не смог даже воспользоваться теми, касающимися меня материалами, которые появлялись в западной прессе. Ко мне приходила лишь часть из них, а я не прилагал усилий к тому, чтобы приобретать другие. На обработку их потребовалось бы время, какого у меня не было. К тому же мое собственное понимание мотивов и характера моей деятельности лишь в исключительных случаях и лишь отчасти совпадало с тем, как об этом писали мои критики. А вступать в самозащитную полемику с ними было бы равносильно тому, чтобы заново переписать мои книги: яснее и проще писать я уже не способен.

В глубине и за кулисами истории

Моя жизнь не годится для обычных мемуаров еще и по той причине, что я никогда не занимал высоких постов. Когда мне предоставлялась возможность подняться хотя бы на одну ступеньку иерархической лестницы, я отказывался от этого сам или меня сбрасывали с нее вниз, видя во мне отсутствие некоей субстанции власти или наличие чего-то ей противоположного. В армии меня избегали повышать в должности, так как я подавал команды, как «гнилой интеллигент» (так оценил мое командование командир полка), хотя в других отношениях я был образцовым солдатом и офицером. Во мне все противилось тому, чтобы навязывать свою волю другим. Я не мог наказывать провинившихся подчиненных, скрывал их проступки и часто делал за них сам то, что они были обязаны делать. Я согласился стать заведующим кафедрой в университете лишь на том условии, что всеми административными делами будет заниматься мой заместитель. Я вздохнул с облегчением, когда меня освободили от этой должности. В начале войны случайно получилось так, что меня вытолкнули на роль командира отряда из нескольких десятков человек. Это произошло потому, что я был единственным, кто не снял знаки отличия командира (я был сержантом). Я чувствовал себя прекрасно, пока надо было решить «шахматную» задачу, т. е. наилучшим образом выполнить задание – выбить немцев с территории, где находилась база горючего, и поджечь эту базу. После выполнения задания инициативой овладел какой-то ловкий проходимец, и я не стал с ним конкурировать. Очевидно, мой индивидуализм с самого начала жизни был настолько глубоким, что исключал стремление к подчинению других людей.

Я всегда был образцовым учащимся, служащим и работником не из желания повысить мою социальную позицию, а из повышенного чувства собственного достоинства. Последнее проявлялось не только в позитивной, но и в негативной форме, например в бешеных вспышках, когда кто-нибудь пытался меня унизить или навязать мне свою волю, не связанную со служебными обязанностями или превышающую меру деловых отношений. Эту черту моего характера замечали сразу и избегали повышать и вообще как-то улучшать мой социальный статус.

Мои встречи с историческими личностями либо не состоялись совсем, либо были до анекдотичности короткими. О Ленине я узнал, когда его уже не было на свете. О Сталине я узнал рано. К семнадцати годам у меня созрело страстное желание повидаться с ним, но с целью выстрелить или бросить бомбу в него. Но наша встреча не состоялась по причинам чисто технического порядка: не было пистолета и не было бомбы, а минимальное расстояние до Сталина, на которое я мог быть допущен, исключало возможность использования пистолета и бомбы, если бы они были. Уже после войны маршал Ворошилов пожал мне руку среди других офицеров, случайно оказавшихся на его пути. Мое лицо показалось ему знакомым, и он спросил меня, где мы встречались раньше. Я ответил, что мы вместе служили в Первой Конной армии в Гражданскую войну. Маршал сказал мне, что я – молодец, и велел и дальше служить так же. За эту шутку я получил пять суток ареста.

После демобилизации из армии я как-то помогал отцу красить здание ипподрома. Ипподром посетил другой маршал (как видите, мне везло на маршалов) – Буденный, заведовавший всем, что было так или иначе связано с лошадьми. Он тоже жал мне руку среди прочих маля-

ров. И ему тоже мое лицо показалось знакомым. Я сказал, что до войны служил в такой-то кавалерийской дивизии, которую Буденный тогда посетил. И это было правдой. И этот маршал тоже сказал мне, что я — молодец, и велел и дальше служить так же. Маршал приказал выдать нам, малярам, водки. Выпив даровую водку, маляры добавили еще от себя. Мы с отцом в оргии не участвовали, и это нас спасло. Упившись до потери чувств, маляры устроили пожар. Здание ипподрома сгорело дотла. Виновных судили. На месте сгоревшего деревянного здания построили новое в духе «архитектурных излишеств» сталинской эпохи.

Однажды вечером я проходил по улице Дзержинского мимо главного здания КГБ и чуть было не налетел на Ю.В. Андропова — его охрана почему-то проглядела меня. Андропов в испуге спрятался в свою машину. А меня потом несколько часов с пристрастием допрашивали, кто я такой и с какой целью оказался в этом месте. Один из близких людей Андропова рассказал мне уже после опубликования «Зияющих высот» и «Светлого будущего», будто Андропов читал и перечитывал мои книги и будто благодаря ему меня не посадили на двенадцать лет (семь лет лагерей и пять лет ссылки), на чем якобы настаивал Суслов. Я допускаю такую возможность. Но я не усматриваю проявления гуманизма в том, что меня выбросили из страны и вычеркнули мое имя из советской науки и литературы.

Трижды встречался с Молотовым. После его падения, конечно. Один раз я стоял с ним рядом в очереди за молоком в продуктовом магазине на улице Волхонка, где находился мой институт. Другой раз сидел неподалеку от него в профессорском зале Библиотеки имени Ленина. Третий раз стоял в коридоре в группе других читателей, разговаривавших с ним. Разговор мне показался банальным и скучным. Я в нем участия не принял. И вообще я заметил, что лица, потерявшие свои прежние высокие позиции, становятся чрезвычайно серыми, пустыми, скучными. Вернее, не становятся таковыми, а обнаруживают себя в качестве таковых. Вот, пожалуй, самые значительные мои встречи с сильными мира сего, которыми я могу похвастаться. Были и другие встречи, но менее значительные, чем эти.

Я нисколько не жалею о том, что не был близок с «королями» советского общества и не был вхож в их дома. Я всегда относился к ним с презрением, считая их лишь объектом для сатиры. Самые значительные с точки зрения ума, талантов и нравственности личности, с которыми мне приходилось встречаться в Советском Союзе, либо погибли, либо потерпели крах при попытках добиться жизненного успеха, либо сознательно и добровольно застряли на низших ступенях социальной иерархии. Те же из моих знакомых, которые там преуспели, и те преуспевшие личности, с которыми меня там сталкивала судьба, были ничтожествами в отношении именно ума, талантов и нравственности. Поэтому я не собираюсь прилагать особых усилий к тому, чтобы припомнить, когда, при каких обстоятельствах и с какими партийными и государственными чиновниками меня сталкивала судьба.

Имена многих из них стали мелькать в прессе. Но эти люди все равно не выросли в значительные личности, которым стоило бы посвятить особые главы в воспоминаниях. Они сообща дали мне много материала для обобщенных литературных персонажей. Но каждый из них по отдельности не дал мне материала даже для одной страницы индивидуализированного описания. Они суть элементы массовых явлений. И в качестве таковых они могут быть описаны лишь средствами, адекватными именно массовым явлениям. Сколько я ни приглядывался к ним, я не замечал значительной разницы между ними, как не замечал разницы между клопами, забившимися в щели деревенского деревянного дома. У меня свои критерии измерения значительности личностей, не совпадающие с общепринятыми.

В жизненном потоке есть глубинные и есть поверхностные явления, есть скрытый ход истории и есть пена истории. Волею обстоятельств я оказался погруженным именно в скрытый и глубинный поток советской истории, дающий мало красочного материала для литературы приключенческо-мемуарной. Моя жизнь оказалась настолько тесно связанной с глубинными процессами формирования коммунистического социального строя в моей стране, что я круп-

нейшие события советской истории переживал в гораздо большей мере как события личной жизни, чем свои собственные индивидуальные приключения. Я не играл никакой исторической роли. Зато все, что происходило со мною, было частичкой огромной истории, причем истории настоящей, а не фиктивной, раздутой из ее пены тщеславными клоунами и интерпретаторами их клоунады. Главным в моей жизни стал не внешний ее аспект, а внутренний, т. е. осознание и переживание великого исторического процесса, происходившего на моих глазах. Мне с этой точки зрения повезло. Не стремясь и не будучи допущен на открытую арену истории, на которой кривлялись «великие» клоуны, я имел почти неограниченный доступ в закулисную жизнь и в преисподнюю истории. Я имел уникальную возможность наблюдать внутренние механизмы советского общества во всех существенных его аспектах и на всех уровнях социальной иерархии. При этом мое понимание этого общества формировалось не в результате изучения теорий, уже созданных другими авторами. Оно протекало как моя индивидуальная жизненная драма, как жизнь первооткрывателя сущности и закономерностей нового исторического феномена. Так что моя жизнь была по преимуществу интеллектуальной, более соответствующей именно форме исповеди.

Я сам себе государство

Если у меня и были какие-то возможности вылезти на сцену истории в более или менее заметной роли, я их упустил преднамеренно. Я с детства ощущал в себе что-то такое (не нахожу этому названия), что сместило мои оценки явлений жизни и мои интересы в сторону от общепринятых норм на этот счет. В юношеские годы это самоощущение я выразил для себя в формуле «Я сам себе Сталин». Перед демобилизацией из армии я имел беседу с генералом Красовским, ставшим впоследствии маршалом авиации. Он уговаривал меня остаться в армии, хотя в то время из армии увольнялись многие тысячи гораздо более заслуженных и ценных летчиков, чем я. Уговаривал, потому что я был единственным, подавшим рапорт с просьбой демобилизовать меня, тогда как прочие летчики хотели остаться в армии. Он сулил мне в будущем чин полковника и даже генерала. Я сказал ему, что мне этого мало. Он спросил меня удивленно, чего же я хочу. Я ответил, что хочу выиграть свою собственную историческую битву. Не знаю, понял он смысл моих слов или нет, но приказ о моей демобилизации подписал тут же.

Позднее я выразил это мое самоощущение формулой «Я сам себе государство». Такая ориентация сознания, конечно, повлияла существенным образом на весь ход моей жизни, сделав главным в ней события и эволюцию моего внутреннего государства, моей внутренней вселенной. Наверняка найдутся знатоки человеческой психологии, которые усмотрят в таком «повороте мозгов» психическую ненормальность. Не буду спорить. Напомню только о том, что человек выделился из животного мира благодаря каким-то уклонениям от биологических норм. Вся история цивилизации обязана своим прогрессом людям, которые были уклонением от общепринятых норм. И все же мы не рассматриваем эволюцию человечества в понятиях медицины. Мое внутреннее государство было не плодом больного воображения, не проявлением эгоизма и эгоцентризма. Оно было явлением социальным, а не психологическим. Оно было формой отказа от борьбы за социальный успех. Потому на этом пути меня не мог удовлетворить никакой высокий пост, включая президентов, генеральных секретарей и королей, не могло удовлетворить никакое богатство, никакая слава.

Не знаю, как у других народов, но среди русских такой тип людей, которые фактически ведут себя по формуле «Я сам себе государство», встречается довольно часто. Эти люди живут так, как будто весь остальной мир есть лишь природная среда их существования. Они в этой среде добывают средства жизни, а живут в основном в своем маленьком замкнутом мирке. В отличие от этих людей, я жил в огромном и открытом мире. Я построил целую теорию человека-государства и сделал попытку осуществить ее на уровне высших достижений циви-

лизации. Но начал я, как и многие другие мои соплеменники, с самого низкого уровня. Во время скитаний в 1939–1940 годах я мечтал поселиться где-нибудь в глуши и прожить жизнь каким-нибудь пасечником, сторожем, лесником или охотником. Такие порывы уйти от городской жизни в лесную и деревенскую глушь появлялись у меня и в студенческие годы после войны. Но уже в довоенные годы я заметил, что жизнь в уединении, о котором я тогда мечтал, возможна лишь в книгах и в кино. В реальности же она возможна только ценой полной интеллектуальной и моральной деградации. Для человека такого типа, как я, суверенное личное государство было возможно лишь в самом бурном потоке жизни. В этом состояла трудность проблемы. Я не утверждаю, что я эту проблему решил. Я лишь утверждаю, что всю свою сознательную часть жизни бился над ее решением.

Социальный отщепенец

В Советском Союзе то положение, в котором я оказался в результате следования своим жизненным принципам, называют словом «отщепенец». На западные языки это слово переводится словами, неадекватными советскому словоупотреблению. Поэтому я поясню его новый, понятийный смысл.

Отщепенцами в Советском Союзе называют лиц, которые по тем или иным причинам вступают в конфликт со своим коллективом и даже с обществом в целом, противопоставляют себя им и оказываются исключенными из них. Социальным отщепенцем является такой отщепенец, который обрекается на эту роль по причинам глубоко социального характера, т. е. в силу его взаимоотношений с социальным строем страны, с ее системой власти и с идеологией. Социальный отщепенец является одиночкой, бунтующим против своего социального окружения. За это он наказывается либо уничтожением в качестве гражданской личности, либо подвергается остракизму. Отщепенцами люди становятся отчасти помимо воли – общество само выталкивает их на эту роль. Отчасти они становятся таковыми добровольно, в силу жизненного призвания. Общество борется с отщепенцами. Но оно вместе с тем нуждается в них и производит их более или менее регулярно. Оно производит их для того, чтобы они сыграли роль, которую не хотят и не могут играть другие, «нормальные» люди. Эта их роль есть часть объективного механизма самосохранения общества. Обществу отщепенцы требуются, но лишь в малом количестве и лишь на короткий срок. Требуются для того, чтобы они выполнили самую опасную и неблагодарную работу. Требуются также для того, чтобы превратить их наказание за это в своего рода ритуальное жертвоприношение, имеющее целью использование результатов их деятельности и воспитание других.

Процесс превращения человека в отщепенца есть более или менее длительный процесс. Общество сначала принимает меры, чтобы помешать превращению человека в отщепенца, и это ему обычно удается. Лишь в исключительных случаях усилия такого рода оказываются тщетными, и тогда общество само провоцирует отщепенца на явный личный бунт и обрушивает на него всю мощь своей власти и ненависти.

Я рос и созревал духовно вместе с превращением коммунистического социального строя в моей стране в зрелый социальный организм. В этом процессе возник, рос и взрослел мой конфликт с моим обществом, мой личный бунт в нем и против него, который привел к тому, что я был выброшен из моей страны и отторгнут от моего народа. В моей исповеди я хочу объяснить, в чем именно состоял мой бунт, как он протекал и чем кончился. Мое положение здесь подобно положению ученого-врача, заболевшего новой, еще не изученной неизлечимой болезнью и использующего представившийся ему уникальный случай описать возникновение и ход болезни на самом себе.

Общество неуклонно само выталкивало меня в отщепенцы. Но я не был пассивной игрушкой в его руках. Я, как и все, был подвержен влиянию обстоятельств. Но в гораздо боль-

шей мере я противился обстоятельствам, всю жизнь упорно шел против потока истории. Я сам творил себя в соответствии с идеалами, которые выработал сам. И в этом смысле я есть самодельный человек. Я всю свою жизнь ставил на самом себе эксперимент по созданию искусственного человека моего собственного образца. Моя исповедь есть также отчет об этом эксперименте. Хотя я и не могу похвастаться тем, что довел мой эксперимент до успешного конца, но думаю, что для одиночки, который шел против всего и против всех, я сделал все-таки достаточно, чтобы иметь моральное оправдание для предлагаемой вниманию читателя исповеди.

В медвежьем углу

От Пахтино до Нью-Йорка

Находясь на Западе, мне приходилось десятки раз летать по всему белу свету. И каждый раз я подолгу разглядывал географические карты в бортовых журналах. Я находил Москву, затем города Загорск, Александров, Ростов, Ярославль, Буй, Данилов и Галич, расположенные на железнодорожной магистрали Москва – Владивосток. За Галичем расположена маленькая железнодорожная станция Антропово, которую не найдете на карте. На север от Галича на карте можно увидеть небольшое озеро. На берегу его расположен городок Чухлома, тоже не обозначенный на карте. Примерно посредине между Чухломой и станцией Антропово когдато находилась маленькая деревушка Пахтино. В этой деревушке я родился 29 октября 1922 года. Я мучительно вглядывался в карты и видел эту деревушку так отчетливо, как будто только сейчас покинул ее. Видел дома, поля, леса, ручьи. Видел людей. Видел даже коров, овец и кур. А ведь ничего этого давно нет. И никогда не будет. В русской истории вообще мало что сохранялось. Моя жизнь в этом отношении была вполне в ее духе. Почти все, где я бывал, куда-то исчезало. Я часто мечтал вернуться в прежние места и увидеть наяву что-то знакомое и пережитое. А возвращаться было либо не к кому, либо некуда. До войны я не раз ходил пешком от станции Антропово до своего Пахтино. На пути были деревни, обработанные поля, церкви. В 1946 году после демобилизации из армии я последний раз прошел этот путь пешком. Почти ничего не осталось. На месте деревень – развалины домов. Как будто именно тут была война. Поля заросли лесом. И не встретил ни одного знакомого человека. Ни одного!

Я вглядывался в то место на картах, где когда-то находилось мое Пахтино, и удивлялся тому, что меня не удивлял скачок из малюсенькой русской деревушки в многомиллионные современные города Париж, Лондон, Нью-Йорк, Рио-де-Жанейро, Токио, не удивлял скачок от старой клячи по имени Соколка, на которой я ездил верхом мальчишкой и возил навоз в поле в колхозе, к современному самолету «Боинг-747», который переносил меня за несколько часов с одного континента на другой.

- Вот ты летишь из Мюнхена в Нью-Йорк, говорил я себе. Прекрасный самолет. Прекрасное обслуживание. Вино. Фильм. Музыка. Еда такая, какая тебе не снилась в молодые годы. И такой порции тебе тогда хватило бы на неделю. Несколько часов, и ты на другом континенте. Поразись этому чуду прогресса!
- А зачем мне Нью-Йорк? возражал я сам себе. Какая нелегкая сила несет меня туда? Посмотреть на статую Свободы, которая, на мой взгляд, есть верх безвкусицы? Побродить по Манхэттену? Побывать на Уолл-стрит? Как говорят в России, видал я это все в гробу в белых тапочках. Несет меня в Нью-Йорк не любопытство к нравам и обычаям на другом континенте и не интерес к красотам «каменных джунглей», а обыкновенная нужда: прочитать какие-то лекции и заработать на жизнь.
- Но все-таки чудо прогресса то, что европеец может слетать в Америку, прочитать лекцию и получить за это какие-то деньги. Потом ты полетишь с такими же лекциями в Чили и Бразилию. Весь мир в твоем распоряжении.
- Пусть так. Но ведь у всего этого есть и обратная сторона. А почему я не могу заработать на жизнь там, где живу, а должен тащиться за тридевять земель, где я не живу и жить не хочу? А «весь мир» теперь стал маленьким и тесным.
 - Но не будешь же ты отрицать технический прогресс! Возьми те же компьютеры...

- Мир не стал от них умнее. Прошлый век был умнее нашего, а будущий будет еще глупее. Ребенок, умеющий обращаться с компьютером, но не знающий таблицу умножения, есть признак деградации. Ко всему прочему в мире исчезли тайна и святость. Мы превращаемся в умную машину, состоящую из глупцов и служащую еще более глупым ловкачам.
- Что поделаешь! Прогресс в одних отношениях всегда сопровождается регрессом в других отношениях. За прогресс приходится расплачиваться. Вот ты сейчас отказался бы от результатов прогресса, которыми ежедневно пользуешься? Сменял бы ты этот «Боинг-747» на своего пахтинского Соколку? Если мне не изменяет память, ты еще в 1941 году начал летать на самолетах предшественниках современных. Будущее все равно принадлежит Нью-Йорку, а не твоему исчезнувшему Пахтино. Ты просто к старости становишься консерватором.
- Ты меня словом «консерватор» не обидишь. Когда в мире все становятся сторонниками прогресса, то самым прогрессивным становится тот, кто протестует против безудержного прогресса, ведущего к невосполнимым потерям. Между прочим, мое малюсенькое и навечно исчезнувшее с лица земли Пахтино существовало (по словам стариков) еще до того, как появился Нью-Йорк. И хотя последний стал городом-исполином, он также исчезнет в Небытие, как и Пахтино. С точки зрения Вечности даже миллион лет есть мгновение. А с точки зрения бесконечности пространства Нью-Йорк есть такая же мизерная точка, как и Пахтино. Я не хочу возвращаться в прошлое, но меня не удовлетворяет и настоящее.
 - Есть будущее!
 - Но я не принимаю то направление, в которое покатился мир.

Такого рода разговоры я не раз вел с самим собой, переносясь с огромной скоростью из одного города в другой, из одной страны в другую, с одного континента на другой. Но в глубине души шевелилась тревога от мысли о том, что кто-то из нас двоих – я и остальной мир – совершил изначальную ошибку и пошел в ложном направлении. Но кто? Если я, то это – пустяк. А если не я?!

Во время одного из таких опостылевших мне полетов я сочинил такое стихотворение, которое я потом включил в книгу «Евангелие для Ивана»:

Бесконечная череда — Поезда, самолеты, отели. Промелькнули, прошли, пролетели Города, города, города. Убеждаемся скоро мы, Что тоскливо в них так, хоть вой, Что хватило бы нам с лихвой Костромы, Костромы. Костромы.

Российская глушь

Наша Костромская область считалась самой глухой в России. Наш Чухломской район считался самым глухим в области. А наша деревушка Пахтино считалась самой глухой в районе. В самую цветущую пору ее существования в ней было не более десяти домов. Представьте себе: проходили столетия, а в деревушке не прибавлялось ни одного дома! Люди рождались, совершали привычный жизненный цикл и исчезали бесследно. Как будто их вообще никогда не было. Такие деревушки назывались «медвежьими углами». Так что можно сказать, что я родился в самой что ни на есть дремучей русской глуши – в «медвежьем углу».

Но уже самим местом моего появления на свет мне пришлось вступить в конфликт с общепринятыми мнениями. У тех, кто не знает фактического положения вещей, слова «глушь»

и «медвежий угол» вызывают в воображении образ оборванных и грязных людей в лаптях, не умеющих читать и писать, живущих в тесных, темных и грязных клетях вроде медвежьих берлог. Мне в жизни много раз приходилось убеждаться в том, что общепринятые мнения часто являются совершенно ложными, а в прочих случаях содержат большую долю лжи. Таким ложным было и широко распространенное мнение о наших чухломских краях. Хотя земля там была неурожайной, хотя ее было немного, хотя хозяйство было довольно примитивным и непродуктивным, наш район был одним из самых культурных и зажиточных в России. Причем это явилось следствием его бедности. Дело в том, что в наших краях было невозможно прокормиться за счет земледельческого труда и мужчины испокон веков уходили на заработки в города – в Москву, Кострому, Ярославль, Иваново, Вологду. Там они становились мастеровыми - плотниками, столярами, малярами, портными, сапожниками. Становились не заводскими рабочими, а именно мастеровыми. Они работали индивидуально или образовывали артели из нескольких человек, иногда из нескольких десятков. Артели были временными. Некоторые из таких мастеровых становились во главе артелей, создавали свои мелкие предприятия, богатели, становились домовладельцами в городах, сохраняя дома в деревнях и строя тут новые. Некоторые насовсем оседали в городах, изредка наезжая в деревни в гости к родственникам. Но основная масса мужчин, работавших в городах, считала городскую жизнь лишь подспорьем в содержании семей, остававшихся в деревнях. А семьи были большие. Семья с пятью или даже с десятью детьми была обычным явлением. Плюс к тому – старики. На старости мужчины навсегда возвращались в свои деревни. Земля не могла прокормить, но и в городах с такими семьями прожить было невозможно. Когда в деревнях была самая напряженная пора, мужчины возвращались домой. Все, что они зарабатывали в городах, они использовали для деревенской жизни: строили дома, покупали дорогую одежду, посуду, драгоценности. Так поступали прежде всего преуспевавшие, а за ними тянулись и остальные. Вместе с деньгами и вещами в деревню привозилась и культура – городской язык, городская одежда, украшения, книги. Деревенские дома строились под влиянием городских квартир, красились снаружи и внутри, обставлялись городского типа мебелью. Я бывал во многих районах России, но нигде не видал таких больших и красивых домов, как в нашем районе.

Приведу два примера, иллюстрирующие уровень культуры нашего «медвежьего угла». Чухломской купец Юдин, выходец из крестьян, был одним из богатейших купцов России уже в середине прошлого века. Слово «купец» тогда обозначало не торговцев, а предпринимателей, предшественников капиталистов в европейском смысле. Наш Юдин имел несколько фабрик, доходных домов, трактиров и даже кораблей на Волге и в Черном море. Он основал одну из первых в России фотографий, основал ряд школ и профессиональных училищ. Его страстью было коллекционирование книг. Он собрал колоссальную по тем временам библиотеку в несколько десятков тысяч томов, самую богатую в России частную библиотеку. Во время Крымской войны он понес большие потери и был вынужден продать библиотеку. Ее купило правительство США, и она послужила одной из основ Библиотеки конгресса США.

Другой пример. Когда началась коллективизация, многие жители района бросили дома и бежали в города. На время школьных каникул я приезжал в деревню из Москвы. Мы, мальчишки, лазили в брошенные дома. На чердаках и в чуланах я находил книги и журналы, попавшие сюда еще до революции. И какие! О таких книгах мои соученики по московской школе еще понятия не имели, а я их уже прочитал в моем «медвежьем углу». В качестве примера назову сочинения Гете, Гюго, Гамсуна. Сочинения классиков русской литературы можно было найти в любом доме. Особенно сильно я тогда увлекался сочинениями Лермонтова, Гамсуна и Гюго. Они в огромной мере способствовали развитию во мне склонности к трагическому романтизму.

Та часть населения района, которая задавала тон, одевалась по-городскому и по-городскому обставляла свои дома. Широко и щедро праздновались религиозные праздники, кре-

стины, именины, свадьбы. Сложилась своеобразная культура общения, местный этикет, иерархия родов. Описания купеческой жизни в городах, которые мне приходилось читать, во многом приложимы к нашему району. В меньших масштабах, конечно. И с одним коррективом: отрицательные явления этого строя жизни, прекрасно описанные в классической русской литературе, оставались там, где люди добывали богатства, – в городах. В самом же нашем районе просто не было базы для социальных конфликтов и страстей.

Разумеется, уровень культуры в нашем районе был высоким лишь в сравнении с другими местами провинциальной России. Образование большинства людей ограничивалось церковно-приходской школой. И культура была приносной, а не результатом имманентного развития района. Это было отражение столичной культуры в глухой провинции, оказавшейся в непосредственной сфере влияния столицы.

Неадекватность эпохе

Отмечу еще одну черту нашего «медвежьего угла»: это высокий уровень нравственности. Причем этот уровень был следствием недоразвитости, а не прогресса. Все те блага, которые люди имели, добывались не путем обмана и эксплуатации других людей, а благодаря усердию и личным способностям. В наших краях вообще не было воров. Моральная деградация началась лишь в советское время. Первый случай, когда девушка «согрешила» до замужества, произошел уже в начале коллективизации. Инерция старой жизни была настолько сильна, что этот случай произвел впечатление конца света. В такой атмосфере нравственных ограничений выросли все дети в нашей семье. Преодолеть наш нравственный примитивизм (так оценивали этот феномен мои друзья) нам так и не удалось. Попав из мира примитивной нравственности в мир высокоразвитой распущенности, я всегда ощущал себя пришельцем из другой эпохи и много страдал из-за этого.

Неадекватность эпохе я ощущал не только в бытовой нравственности. Несмотря на то, что я получил современное образование и выбрался на высоты современной культуры, в глубине души я так и остался человеком из «медвежьего угла». Мои претензии к жизненным благам остались примитивными, неадекватными внутреннему развитию и социальным потенциям. Потому я не испытывал никакой радости и гордости по тому поводу, что приобрел какую-то известность. Скорее, я испытывал горечь от мысли о том, что стал вести образ жизни, о котором мог бы сказать словами из Библии: суета, суета сует и всяческая суета.

Труд

Жизнь у нас была все же совсем не райской. Относительное благополучие достигалось тяжким трудом. Работали с рассвета до заката солнца. А иногда и по ночам. Работали не покладая рук. Работали все — взрослые, дети, старики. Работали, несмотря на болезни. Болезнью считалось такое состояние, когда человек сам не мог встать на ноги. Главная тяжесть труда выпадала на долю женщин. Помимо полевых работ, на их плечах была работа по дому и забота о семье. Женщины учились три-четыре года и уже в одиннадцать — двенадцать лет начинали работать наравне со взрослыми. Мужчины, работавшие в городах, жили в скверных бытовых условиях, без семей, экономя на всем. Я, как и мои братья и сестры, был настолько глубоко с детства приучен к труду, что труд, как таковой, стал навсегда содержанием всей моей жизнедеятельности. Я никогда не уставал от труда. Уставал от безделья и отдыха. Если бы был Бог и в час Страшного суда спросил бы меня, что я делал при жизни, я ответил бы одним словом: работал.

Особенностью нашего района было общинное землевладение. Крестьяне не обладали землей как частной собственностью. Земля делилась на участки в зависимости от состава

семей и предоставлялась во временное пользование им. Земли было мало. Разбогатеть за ее счет было невозможно. Был исключен наемный труд в больших масштабах. Самое большее, что можно было себе позволить, — это один или два наемных работника. Обычно это были женщины. Нанимались они не с целью эксплуатации, а в качестве помощников остающимся в деревнях женщинам с детьми. Такие работники не приносили прибыли нанимателям. На них приходилось тратиться. Жили они в чужих семьях на правах членов этих семей. Нанимала таких работников и моя мать. Они потом навсегда становились чем-то вроде родственников для нас.

Революция

В русском дореволюционном обществе сосуществовали следующие три социальных фактора: отмирающий дворянский строй, нарождающийся капитализм и государственно-бюрократическая система. В нашем «медвежьем углу» доминировал третий. Доминировал настолько, что основная масса населения два первых уже почти не ощущала. Поэтому Февральская революция прошла тут незаметно. Люди констатировали факт, что «сбросили царя», и продолжали жить по-прежнему. Известие об Октябрьской революции принесли солдаты, дезертировавшие из армии. Старые учреждения власти переименовали. К ним добавили новые. Изобрели новые печати. Произошла замена лиц у власти. Но власть как таковая осталась. Остались и расширились ее полномочия. Исчезли куда-то известные богачи, бросив недвижимую собственность в распоряжение новой власти. Основная же масса населения продолжала жить так, как будто ничего особенного не случилось. Ленина, а потом Сталина восприняли как нового царя. В слово «царь» при этом не вкладывали того феодального смысла, в каком его употребляли марксисты. Царь считался самым высшим начальником, а не главой помещиков и капиталистов.

Население нашего района приняло революцию как нечто само собой разумеющееся, как распоряжение высшего начальства. Последствия ее, сказавшиеся в последующие годы, в какойто мере вызвали недовольство. Но в гораздо большей мере они совпали с тягой людей к городскому образу жизни. Как бы благополучно ни жили в деревнях, жизнь эта была заполнена каторжным трудом, заботами и тревогами. Нельзя сказать, что революция сразу же принесла ощутимые выгоды массам людей. Но она принесла нечто более важное, а именно принуждение к изменению всего образа жизни и возможность осуществить это на деле в огромных масштабах. Новый социальный строй выжил главным образом благодаря тому, что расчистил дорогу для объективной тенденции и поощрил ее.

Наша родственная группа

Я расскажу о нашей родственной группе, поскольку ее судьба характерна. Я считаю полезным писать об этом хотя бы потому, что читатель вряд ли найдет такой подход к русской революции в сочинениях других авторов.

Родители моей матери (Василий и Анастасия Смирновы) были довольно богатыми людьми. Помимо дома в деревне, самого богатого в округе, у них были дома в Петербурге. Дед был предпринимателем, какие тогда в большом количестве появлялись в России. Не знаю точно, в чем состояло его дело. Знаю только, что он сам был мастером на все руки и работал вместе со своими рабочими. О размерах его богатства можно судить по тому факту, что в результате революции у него пропало двести тысяч рублей наличными. Сумма по тем временам немалая. Факт этот характерен для состояния капиталистических отношений в России перед революцией. Хотя в России уже существовали капиталисты европейского типа, капиталистические отношения в целом оставались еще примитивными. Основная масса предпринимателей, образующих потенциальный класс капиталистов, который мог бы стать основой общества,

находилась психологически, идеологически и организационно еще на стадии накопительства. Они имели большие доходы. Но держали деньги не в банках, а в сундуках. И вкладывали их не в расширение и модернизацию бизнеса, а в недвижимость (дома), в дорогие вещи (одежда, драгоценности, посуда) и предметы быта (лошади, санки, тарантасы). Мой дед был типичной фигурой на этот счет.

Ленинские выводы относительно развития капитализма в России, основанные на впечатляющей статистике, были, однако, сильным преувеличением. Ленин не располагал другой статистикой, более важной с социологической точки зрения. Он отбирал для аргументации лишь то, что соответствовало априорной марксистской доктрине, и игнорировал то, что не подкрепляло ее. Он игнорировал то, что действительно способствовало реальной социалистической революции, и преувеличивал то, что способствовало ложной идеологической концепции этой революции. Диалектическая парадоксальность истории тут состояла в том, что именно ложная идеология оказалась наиболее подходящей идеологией революции, а не некая объективная научная истина, которая была тогда непостижима и которая до сих пор кажется чепухой тысячам «специалистов».

У родителей моей матери было семь дочерей и один сын. Все дочери были выданы замуж за уважаемых людей, по традиции, в нашем же районе или за выходцев из наших мест. Одна из дочерей была выдана замуж за молодого человека из зажиточной семьи, офицера царской армии; во время революции он перешел на сторону большевиков, был политическим комиссаром дивизии в Гражданскую войну. После войны он стал профессиональным партийным работником среднего ранга — был одним из секретарей областного комитета партии и членом ЦК союзной республики. Его звали Михаил Маев. По рассказам жителей наших мест, после Октябрьского переворота он приехал в нашу Чухлому, объявил об образовании новой власти, забрал жену с детьми и насовсем покинул наши края.

Мой родной дядя по материнской линии, Александр Смирнов, получил хорошее образование в Петербурге. Жил и работал в Ленинграде. Перед войной с Германией он был заместителем директора одного из научно-исследовательских институтов. Эти два человека были гордостью в нашей родственной группе.

Я помню деда и бабку по матери весьма смутно. Жили они в основном в Ленинграде. В революцию дед потерял капитал, дело и дома в Петербурге. Но дом в деревне у них сохранился. Уже после смерти деда бабушка отдала дом под медицинский пункт. Когда в доме хотели разместить сельский совет, она погрозилась его сжечь. И ее волю выполняли вплоть до исчезновения деревни вместе с десятками других деревень в результате коллективизации. Такая ситуация кажется неправдоподобной, но это факт. Объясняется он тем, что в силу условий землевладения, о которых я говорил выше, такие люди не рассматривались как эксплуататоры и собственники. Кроме указанной причины, я могу упомянуть также усилившееся сразу же после революции бегство людей из деревень в города. Многие дома оставались стоять пустыми. Продажа дома мало что приносила, а конфискация была бессмысленной – домов и без того было в избытке. Люди бежали в города, просто бросая землю в распоряжение общины. И претендентов на нее не было.

Выходцы из наших мест в городах, на каких бы ступенях иерархии они ни находились, отнеслись к революции без особых эмоций. Они жили в таком разрезе общества, который был затронут революцией в самой малой степени. Наши родственники, за исключением Маева, не имели никакого отношения к подготовке и проведению революции. Но они и не стали врагами революции. Не стали и жертвами. Их не тронули в городах. Естественно, их не тронули и в деревне.

Во время нэпа мой дед снова стал частником. Будучи сам хорошим мастером и организатором дела, он стал сравнительно зажиточным снова. Годы нэпа вообще были годами вспышки того образа жизни, какой доминировал в наших краях. Но он уже был обречен. Люди не верили

в устойчивость этого состояния. Дед и бабка уже не копили деньги, как перед революцией, а проживали их. Они вели широкий образ жизни. Когда они приезжали в деревню, то устраивали пиры с участием десятков людей. У бабушки развилась страсть раздавать вещи всем кому попало. Эта страсть, по всей вероятности, была врожденной в нашем роду. Она перешла и к моей матери. Хотя раздавать практически было почти нечего, она как-то ухитрялась все же собирать какие-то вещи для раздачи нуждающимся. Дед и бабка умерли еще до войны с Германией. Их единственный сын и все дочери, за исключением моей матери и той, которая была замужем за партийным работником Маевым, с их семьями погибли во время блокады Ленинграда.

Мой дед по отцу и другой «богатей» из наших мест были женаты на сестрах. Этот человек был богатым домовладельцем в Москве, содержал большую артель (до ста человек). Как и другие, он имел дом в деревне. Мой дед и отец до революции были мастеровыми в его артели и жили в его доме. Хотя они и были близкими родственниками хозяина дома, они жили в самой плохой комнатушке в сыром подвале. Это объясняется отчасти тем, что дед и отец не помышляли насовсем поселяться в Москве, а отчасти личными качествами деда и отца, которые были беспомощными в житейском отношении чудаками и не умели постоять за себя. Их спасала только высокая квалификация в их деле, их золотые руки. У этого нашего родственника судьба была сходна с судьбой моего деда по матери. В революцию он потерял капитал, дело и собственность. Но он до смерти жил в лучшей квартире своего бывшего дома. Его дети, получившие образование, стали советскими служащими. Одного из его внуков в чине майора я встретил случайно во время войны с Германией.

Упомяну еще об одном родственнике — о брате деда по матери. Он насовсем переселился в Москву, имел текстильную фабрику около Москвы. Его дети после революции стали инженерами, один сын стал морским офицером. Внуки вообще уже были вполне советскими людьми. Одним словом, вся наша родственная группа без особых потерь перенесла великий перелом в русской истории и включилась в историю советскую. Этот факт заслуживает внимания хотя бы уже потому, что никто из наших родственников не скомпрометировал себя недостойным поведением во все трудные и сложные годы послереволюционной русской истории. Я был первым и единственным изо всех, кто имел шансы быть уничтоженным в качестве «врага народа», да и то по причинам качественно иного рода.

Род Зиновьевых

Родители моего отца Яков Петрович и Прасковья Прокофьевна Зиновьевы считались в наших краях, с одной стороны, своего рода аристократией и, с другой стороны, странными людьми. Насчет происхождения деда ходили всякие слухи, достоверность которых проверить уже невозможно. Лет двадцать назад один из моих родственников обнаружил какие-то документы, касающиеся нашей родословной. Но я не берусь высказывать какие-то суждения на этот счет. И теперь эти документы, если они на самом деле существовали, вряд ли доступны для любопытных. Дедушка пришел в нашу деревню из другого района. Как тогда говорили, он «пришел в дом», т. е. стал жить в доме жены. Он очень мало говорил о своем прошлом и о предках.

После женитьбы и рождения отца бабушка тяжело заболела неизлечимой экземой ноги и осталась инвалидом на всю жизнь. Ее жизнь превратилась в сплошное страдание, но она так и не позволила ампутировать ногу. Боли в ноге были особенно сильными по ночам, так что в течение более чем пятидесяти лет у нее не было ни одной ночи, когда она спала бы. Весьма возможно, что это беспрерывное страдание, происходившее на наших глазах, и терпение, с каким это страдание переносилось, внесло свою долю в развитие психологии и даже идеологии обреченности на страдания в нашей семье.

Дедушка Яков, насколько я его помню, был очень добрым и задумчивым человеком, как говорится, «человеком не от мира сего». Он боялся даже голос повысить на бабушку. Надо отдать ей должное, она никогда не злоупотребляла своей властью. Она тоже была очень доброй и отходчивой. Еще более мягким человеком был мой отец. Я за всю жизнь ни разу не слышал, чтобы он кого-нибудь обругал или вообще как-то обидел. Даже в те периоды, когда дед и отец подолгу жили в деревне, наказание детей (а нас было за что наказывать) было функцией бабушки и матери. Вместе с тем эта их мягкость сочеталась с поразительной стойкостью в некоторых ситуациях. Например, дед и отец категорически отказались вступить в колхоз. Отец просто уехал в Москву. А дед так и дожил жизнь в деревне, не будучи колхозником. Или другой пример. После расстрела «врага народа» Зиновьева отцу предложили поменять фамилию. Он наотрез отказался, мотивируя отказ тем, что наш род Зиновьевых является древним русским родом, а тот «Зиновьев» был вовсе даже не Зиновьевым, а каким-то Апфельбаумом. Это качество деда и отца быть мягкими и уступчивыми, но в критические и важные моменты проявлять непоколебимую стойкость (даже упрямство) перешло ко всем моим братьям. Сестры унаследовали способность бабушки и матери доминировать в семьях.

Дед был совершенно неприспособлен к деревенским работам. Зато дом наш он отделал так, что смотреть на него приходили из отдаленных деревень. Он был хорошим столяром и маляром. Всю мебель в доме он сделал сам, причем по городским образцам. Все комнаты обшил фанерой и покрасил. Из Москвы он привозил книги, картины, иконы. Икон в доме было очень много. Священник отец Александр, часто бывавший у нас, говорил, что такие иконы могли бы быть украшением его церкви.

Дедушка и бабушка много читали и пересказывали нам, внукам, прочитанное. Они были религиозными, но без фанатизма, в каком-то романтическом, сказочном и даже детском смысле. Бабушка перенесла непрекращающиеся физические страдания в течение стольких лет лишь благодаря вере и постоянным молитвам. Я много раз слушал ее разговоры с Богом и со своей ногой. Впоследствии я замечал, что непроизвольно следовал ее примеру. Изобретая свою систему жития, я припоминал кое-что из того, что усвоил в детстве. Например, я разговаривал с болевшими частями тела как с особыми существами. Я старался убедить их в том, что их болезненное состояние вредит нам обоим. Когда нападала бессонница, я коротал время изобретенными мною молитвами, похожими на те, которые бабушка твердила в течение более чем пятидесяти лет бессонной жизни. Многое из этого я приписывал моим литературным персонажам. Например, бабушка каждую ночь благодарила Бога за то, что он дал ей жизнь, говорила, что другим живется еще хуже, что страдания суть тоже жизнь. В книге «Живи» эта мысль стала лейтмотивом жизни главного ее героя. Только, в отличие от бабушки, он был атеистом и не выдержал испытания до конца. Между прочим, идея сделать этого героя безногим возникла под влиянием воспоминаний о болезни бабушки. То, что я сделал причиной несчастья моего героя атомные эксперименты, было делом второстепенным.

Бабушка ни разу не видела железную дорогу. Дедушка еще мальчиком ходил в Москву пешком. Я был пилотом на первоклассном для своего времени самолете и регулярно летаю пассажиром на таких самолетах, о каких даже подумать не смели еще несколько десятилетий тому назад. И все же есть вневременной разрез бытия, в котором мы остаемся равноправными партнерами. Пройдут новые века и тысячелетия, и все-таки будут появляться люди вроде нас.

Они вновь откроют и переоткроют старую как мир истину: ничто не ново под луной, новое есть лишь хорошо забытое старое. А если такие чудаки не появятся, на будущем человечества можно будет поставить крест.

Дедушка был не прочь выпить. И был довольно крепким на этот счет. По рассказам знакомых, в молодости он мог выпить целый литр водки и оставаться на своих двоих. Мастеровые устраивали «спортивные» соревнования: кто больше затащит кирпичей в мешке на третий этаж, держа мешок в зубах. Дед часто выходил победителем, хотя внешне выглядел щуплым. По всей вероятности, я в этом отношении пошел в деда. Мне тоже приходилось выпивать огромное количество спиртного и оставаться на ногах. После войны, например, я выпил в кафе в Вене один больше, чем десять австрийцев вместе. И после этого я добрался до своей части, избежав подозрений патрулей. Мне тоже приходилось выигрывать соревнования, хотя мои конкуренты внешне выглядели гораздо сильнее меня. Иногда это случалось в пьяном состоянии. На спортивных соревнованиях в Братиславе в 1946 году меня буквально приволокли на беговую дорожку бежать на три или даже пять километров. Я прибежал первым. Правда, в объяснение моего «успеха» можно сказать, что мои конкуренты тоже были хороши: всю предшествующую ночь мы пьянствовали вместе.

Наш дом

К женитьбе отца дед построил новый дом. По размерам и удобствам он стал одним из лучших в округе. Жилая часть дома была сделана по образцу городских квартир. Отдельная кухня, спальня для отца и матери, спальня для дедушки и бабушки, спальня для старших детей, горница. Горница — это большая комната для приема гостей. В ней стоял посудный шкаф, комод, стол человек на двадцать, диван, венские стулья, цветы. Висело большое зеркало, иконы, картины. Одна из картин — портрет царя Александра Второго. Он висел вплоть до отъезда всей семьи в Москву в 1946 году. И никто и никогда не сделал по этому поводу ни одного замечания, хотя у нас часто бывали начальники из Чухломы и даже Костромы.

Дом был окружен садом. К саду примыкал огород. В нем был пруд и баня. Баня была с печкой, парилкой и раздевалкой. Такая баня была единственной во всей округе. За огородом находилось гумно — участок, где росла трава на корм скоту и располагались различные хозяйственные постройки. Вся земля, на которой находились дом, сад, огород, гумно, сараи и другие постройки, принадлежала общине. Но община не была собственницей земли. Она не могла продать ее. После революции это отношение к земле сохранилось. Передача земли в «вечную собственность» колхозам при Сталине была лживой пропагандой по форме и новым закрепощением крестьян по существу.

Такой дом сыграл свою роль в формировании нашей психологии. Деревня для нас выглядела не как нечто противоположное городу, а как некое ответвление города. Мы вырастали не с сознанием людей, обреченных вечно копаться в земле, а со стремлением оторваться от нее и подняться на более высокий, городской уровень. Последний нам казался более высоким в любом варианте. Революция и коллективизация лишь ускорили процесс, который без них мог затянуться на много десятилетий, и придали этому процессу черты трагичности.

Отец

Мой отец, Зиновьев Александр Яковлевич, родился в 1888 году. Из-за болезни бабушки он остался единственным их ребенком. Это произошло не из-за неспособности их иметь других детей, а из-за сознательного воздержания. Для современного человека такое явление немыслимо. Отец окончил трехлетнюю школу и уже с двенадцати лет пошел по стопам деда. Тот стал брать отца с собой в Москву и приучать к ремеслу.

Не знаю, как протекала жизнь отца в годы мировой войны, революции и Гражданской войны, – он никогда об этом не рассказывал. Я видел его фотографии в солдатской форме. Слышал разговоры, будто он был тяжело ранен или контужен. Я его знаю и помню только в одном качестве: работа. Работал он, не считаясь со временем, не зная праздников, лишь бы заработать что-то для семьи. Мастер он был первоклассный, но на редкость непрактичный человек. Его постоянно обманывали. Он плохо одевался, плохо питался, мало общался с людьми вне работы. У него было две страсти: изготовление трафаретов и чтение. Работал он до последнего

дня жизни. По дороге с работы домой он потерял сознание и на другой день умер в возрасте семидесяти шести лет.

Отец неплохо для самоучки рисовал. Когда он приезжал в деревню, он привозил нам цветные карандаши, краски и бумагу для рисования. Мои братья и сестры были равнодушны к рисованию. Я же начал рисовать, как только обрел способность держать в руках карандаш. Отец хотел, чтобы я стал художником. В юности он имел возможность поступить в художественно-промышленное училище, несмотря на недостаток общего образования. Но он эту уникальную по тем временам возможность упустил. Почему-то воспротивились все родственники. И деньги надо было зарабатывать на новый дом. Я тоже художником не стал, но уже по другим причинам.

Мать

Главой нашей семьи была моя мать Апполинария Васильевна, урожденная Смирнова. Родилась она в 1891 году в деревне Лихачеве в четырех километрах от Пахтино. Деревня была большая сравнительно с нашей и очень красивая. Расположена она была на крутом берегу реки Черт. Почти все дома в ней были крашеные, многие двухэтажные. В двух километрах от деревни протекала большая река Вига, которую можно даже найти на географических картах. Я видел сотни всяких рек. Но должен сказать, что ни одну из них, кроме старой Волги, не могу сравнить с ней по красоте. Если хотите познать подлинную красоту русской природы, поезжайте в те края. Я выше сказал о старой Волге, какой я ее видел до войны и во время войны. Потом ее загубили плотинами и водохранилищами.

Мне не раз приходилось читать, будто русское общество держалось на женщинах. В применении к нашим краям это мнение более чем верно. Женщины выполняли самую тяжелую и грязную работу. На них держался дом. На них держалась семья. Роль женщины в обществе наложила свою печать на национальный русский характер. Русская нация складывалась как нация женственная. Начала было складываться. Революция оборвала этот процесс.

Моя мать была типичной русской женщиной в указанном выше смысле. Но как индивидуальная личность она была явлением исключительным. Я утверждаю это не по долгу сына и не в силу причин, какие тут сразу же примыслят презираемые мною психоаналитики фрейдистского толка. Я это утверждаю с целью воздать должное замечательной русской женщине, которая не имела никакой возможности развить данный ей от природы дар и сделать его достоянием общества.

Два человека в наших краях, не занимавшие никаких постов и не имевшие специального образования, имели всеобщую известность и пользовались всеобщим уважением. Один из них был лекарь-самоучка Толоконников. Он одному ему известными способами лечил всякие болезни, включая рак. Одним из его пациентов был Главный маршал авиации Новиков, уроженец наших мест. Он заболел раком. В Москве лучшие специалисты сочли его обреченным. Тогда-то он вспомнил о Толоконникове. Чуть живого маршала отвезли в Чухлому. В течение нескольких недель Толоконников поставил его на ноги. После этого маршал прожил еще много лет. Он добился создания специальной комиссии по изучению опыта Толоконникова. Но пока длилась бюрократическая волокита, Толоконников умер, не оставив никаких записей.

Второй из упомянутых выше личностей была моя мать. Если Толоконников лечил недуги тела, то моя мать лечила недуги душевные. Она обладала удивительной способностью притягивать к себе людей. В ее присутствии мир становился светлее, солнечнее. Людям становилось легче на душе уже от одного того, что они находились с нею рядом. Она никогда не кричала, как другие бабы. Никогда не ругалась. В самые тревожные минуты от нее исходило спокойствие и умиротворение. Побыть с ней и поговорить приходили люди из отдаленных деревень.

Священник Александр, знавший ее с детства, называл ее солнечным человеком. Он считал, что ей от Бога был дан дар облегчать душевные страдания людей.

На долю моей матери выпала тяжелая, мученическая жизнь. Непутевый муж, которого она видела самое большее две-три недели в году, да и то не каждый год. Больная свекровь и затем неспособный к деревенской работе свекор. Орава детей. Дети рано отрывались от дома, и им приходилось несладко. Остававшихся с нею детей надо было одеть, обуть, накормить. С ними вечно случались какие-то неприятности. Болезни, ссоры, драки, увечья были обычными явлениями житейских будней. Добродетели вырабатывались лишь как черты характера, а не как ежеминутная идиллия. Последних два ребенка родились больными. У младшего брата были больные ноги, а у сестры глаза. Такие болезни требовали многих лет лечения. Больше пяти лет мать сражалась за то, чтобы брат стал нормально ходить. Она выиграла это сражение. Брат вырос здоровым, стал спортсменом, отслужил в армии. Больше десяти лет ушло на то, чтобы сделать сестру зрячей. Она выросла очень красивой и умной девушкой. Она умерла изза преступной халатности бесплатной советской медицины в Москве.

Годы и годы бессонных ночей и тревог. А ведь все эти годы надо было заботиться о других членах семьи, работать в колхозе и на своем индивидуальном участке. Что такое тревоги и хлопоты о детях, я понял, когда родилась моя первая дочь с дефектами ног и позвоночника. Я потратил двенадцать лет на то, чтобы сделать ее здоровой. Я, как и моя мать, добился успеха. Но чего это мне стоило! А ведь у меня тогда на руках был всего один ребенок.

И главное – колхоз. Год колхозной жизни в наших местах я приравниваю по крайней мере к году исправительных лагерей строгого режима. Моя мать проработала в колхозе шестнадцать лет.

Колхоз не сразу обнаружил свою сущность. А когда обнаружил, было уже поздно. Оставался один выход: бегство. Бегство нашей семьи растянулось на шестнадцать лет. Для истории такой срок – миг. А для страдающих индивидов вечность. Для матери эти годы были непрерывной пыткой. Она работала больше других, так как семья была больше. Оплата труда была издевательская. Но даже несколько дополнительных килограммов зерна были спасительными. На ее глазах происходило крушение всего прежнего уклада жизни. Закрыли церковь. Стремительно рушились моральные устои тех, кто остался в деревнях. Пьянство. Воровство. Обман. Лодыри, жулики и дураки на короткое время вылезали в начальство и скоро исчезали в тюрьмах, уступая место таким же несчастным ничтожествам. Мать не принимала участия в махинациях местных начальников. Но было просто невозможно жить, не нарушая законов. И мать жила постоянно в страхе быть арестованной за какое-нибудь мелкое преступление, изобретенное новым строем. Например, я мальчишкой ходил далеко в лес за грибами, брал с собой маленькую косу, прятал ее, чтобы не увидели соседи, в лесу прикреплял ее к палке и косил на полянках траву. Ночью мы с матерью приносили скошенную траву домой и прятали. Если бы соседи увидели это, то непременно донесли бы. За охапку сена на первый раз конфисковали бы целый воз, а то могли и посадить в тюрьму. Такое чуть было не случилось, когда мать покосила осоку в болоте для того, чтобы набить ею матрац для меня. Осоку пришлось выбросить на глазах у односельчан, а у матери вычли в наказание десять трудодней (трудодень - форма учета труда в колхозе).

Мать обладала способностью ясновидения и изначального понимания сущности явлений жизни. Она понимала все сразу и правильно, без всяких иллюзий. Она, например, сразу поняла суть колхозов, предвидела опустошение района и последующие кошмарные годы. Но что она могла сделать? Легко давать умные советы, глядя на историю со стороны и живя в комфортабельных условиях. Люди реагировали на происходящее единственно доступным для них способом: бегством от колхозных ужасов. Это делала и моя мать, постепенно отправляя детей в город и готовясь к будущему разрыву с деревней вообще. Она в это верила и предвидела это.

По ее советам несколько семей из нашей и соседних деревень срочно уехали в города («завербовались») еще до начала коллективизации.

Дети

Моя мать родила одиннадцать детей. Первого в 1910-м, а последнего в 1935 году. Двое детей умерли маленькими в годы войны и голода. Младшая дочь умерла в двадцать лет из-за халатности врачей. Старший сын умер в пятьдесят шесть лет от рака. В момент написания этой книги в живых оставалось семеро. Все дети моих родителей вместе произвели на свет лишь пятнадцать детей, т. е. почти два ребенка на семью. А у внуков эта величина и того меньше. Факт характерный. Хочу заметить к сведению теоретиков, увидевших причину снижения рождаемости в России в пьянстве: все мои братья и сестры были трезвенниками, пьянствовал один я, что не помешало мне произвести на свет троих детей. Я мог бы произвести тридцать, но этому воспрепятствовали соображения социального расчета и морали, а не водка.

Мой старший брат Михаил (1910–1966) в двенадцать лет уехал с дедом и отцом в Москву. Сначала работал подмастерьем с ними. Потом стал учиться в вечерней школе и одновременно в профессиональной школе при мебельной фабрике. Вступил в комсомол. Добровольно работал два года на строительстве Комсомольска-на-Амуре. Учился в вечернем техникуме без отрыва от работы. В 1933 году женился. Имел четверых детей. По окончании техникума стал мастером, техником, инженером на мебельной фабрике. Во время войны был сержантом и младшим офицером. Награжден орденами и медалями. После войны работал начальником цеха и затем директором фабрики. Избирался депутатом районного и областного советов. За трудовую деятельность награждался орденами и медалями. Был членом партии. Чтобы предотвратить аварию на фабрике, бросился в опасное место, получил сильный удар в грудь. Как это и бывало с русскими людьми, не обратился сразу к врачу. Когда почувствовал себя плохо, было уже поздно. Вскоре он умер, на его похороны пришли сотни людей. Один из выступавших сказал, что в России только после смерти настоящего человека мы узнаем, кого мы потеряли.

Жизненный путь брата Михаила характерен. Таких людей в народе считали настоящими коммунистами, вкладывая в это слово самое идеальное нравственное содержание. Уже будучи начальником цеха, он жил с женой и четырьмя детьми в одной комнате. Лишь став директором фабрики, он получил двухкомнатную квартиру.

Обе мои старшие сестры были тоже типичными русскими женщинами того периода. Образование их ограничилось четырьмя классами деревенской школы. Они рано начали работать в поле. Прасковья (1915) в шестнадцать лет вышла замуж за семнадцатилетнего парня из соседней деревни, жившего в городе. Сделав что-то с документами, чтобы увеличить возраст, они сразу же уехали в Ленинград. Конечно, пришлось дать взятку кое-кому. Муж сестры был рабочим. И сестра всю жизнь до выхода на пенсию была работницей. Другой сестре, Анне (1919), тоже не без труда и взяток удалось вырваться из колхоза. Она уехала в Москву, работала нянькой, домашней работницей, чернорабочей на заводе. Окончила курсы шоферов. Много лет работала шофером. После аварии стала инвалидом. Работала лифтершей и уборщицей. Участвовала в обороне Москвы. Имела награды.

Типична и судьба младших братьев. Николай (1924) в 1936 году переехал в Москву. Учился в школе. В начале войны стал работать на заводе. За получасовое опоздание был осужден на пять лет заключения. Был направлен в штрафную часть на фронт. Несколько раз ранен. Отличился в боях. Реабилитирован. Награжден многочисленными орденами и медалями. После войны окончил вечерний техникум. Стал замечательным специалистом по тонким приборам. Брат Василий (1926) окончил офицерскую школу, затем заочный юридический институт. Служил в Сибири, в Средней Азии, на Дальнем Востоке. Стал полковником, военным юристом. В 1976 году был назначен на генеральскую должность в Москве. Но в это время

на Западе появилась моя книга «Зияющие высоты». От Василия потребовали, чтобы он публично осудил меня. Он отказался это сделать. Заявил, что он гордится мною. Его немедленно уволили из армии и выслали из Москвы. Но он никогда не упрекал меня за то, что пострадал из-за меня, и не порывал со мной контактов. Он был членом партии, как и другие братья, прекрасным специалистом и на редкость хорошим человеком. Братья Алексей (1928) и Владимир (1931) учились в деревенской школе, служили в армии, работали рабочими, заочно учились в техникумах и институтах, оба стали инженерами.

Ни у кого из моих братьев и сестер не было никаких карьеристических амбиций. Если кто-то из нас немного преуспел, так это исключительно благодаря труду и способностям. Но я бы не сказал, что наша семья поднялась слишком высоко. Должность инженера немногим выше уровня квалифицированного рабочего и мастера. На самый высокий уровень поднялся я, став профессором и заведующим кафедрой университета, и Василий. Да и то на короткий срок. Так что «карьера» нашей семьи не превысила «карьеру» всей страны в результате социальной и культурной революции.

Внуки

Мои воспоминания поневоле превращаются в социологический анализ советской истории не столько из-за моего пристрастия к социологии, сколько из-за того, что наша жизнь шла в удивительном соответствии с закономерностями исторического процесса. Эволюция нашего рода может служить примером тому. Из внуков никто не стал рабочим, но никто не поднялся выше уровня мелкого служащего. Общество вступило в стадию зрелости. Стало труднее подниматься в более высокие слои, но люди стали прилагать больше усилий, чтобы их дети не опускались в низшие слои.

Семейный коллективизм

Бабушка и мать, не подозревая того, «открыли» принципы педагогики, которые потом принесли мировую славу А. Макаренко: воспитывать не каждого ребенка индивидуально, а как членов коллектива, причем коллектива трудового. Как только мы чуть-чуть подрастали и были в состоянии что-то делать, мы включались в трудовую жизнь семьи. Носили дрова и воду, пололи и поливали овощи, сушили и убирали сено. Походы за ягодами и грибами тоже превращались в работу: мы собирали их для семьи. Это было серьезным подспорьем в нашем питании. Сушеные грибы и ягоды сдавали на заготовительные пункты, получая за них мануфактуру, мыло, сахар и другие предметы, которые нельзя было купить в магазине. Драли и сушили ивовую кору. Она шла на выделку кож. Ее возили в Чухлому и получали за нее тоже дефицитные предметы. Ловили кротов. Разводили кроликов. Короче говоря, в нас с первых же дней жизни вселяли чувство ответственности за судьбу ближних и чувство принадлежности к единому коллективу.

Стремление сделать вклад в общее семейное благополучие подавляло прочие желания. Собирая, например, ягоды, которые водились вокруг в изобилии, мы лишь изредка позволяли себе съесть несколько штук. Мы приносили их домой и получали свою долю из собранного нами же. Доли одинаковые, независимо от различий наших вкладов. Наградой за лучшие результаты была похвала. Мы вообще старались все делать так, чтобы заслужить похвалу со стороны взрослых. Но похвалу справедливую. Тем самым нам прививался один из самых фундаментальных принципов идеального коллективизма: принцип справедливой оценки способностей и трудового вклада в общее дело. Когда я вырос, я увидел, что в реальном советском коллективе декларированный марксизмом принцип «Каждому – по труду» чаще нарушался,

чем соблюдался. Я тогда не знал, что именно следование этому принципу является причиной его нарушения, и реагировал на сам факт нарушения как на несправедливость.

Одной из особенностей коллективистского образа жизни является то, что человек всегда на виду у других. Всем видно, что из себя представляет человек. Нас с рождения приучали к тому, чтобы мы выглядели хорошими людьми в глазах окружающих, чтобы завоевывали их уважение исключительно положительными качествами. Нам предстояло жить в коллективах иного рода, чем тот, в котором мы росли. Но наше положение в них как добросовестных работников, лишенных карьеристических устремлений, не способных к интригам, к халтуре, к обману и к холуйству, было предопределено воспитанием в семье. Это имело свои недостатки и свои достоинства. С такими качествами можно было жить достойно, но нельзя было преуспеть в смысле карьеры и материального благополучия. Я думаю, что в нашей семье никто не попал в волну сталинских репрессий (случай с братом Николаем и со мной совсем иного рода) в значительной мере благодаря тому, что никто из нас не был карьеристом и стяжателем, зато все были хорошими работниками, какие тогда требовались стране и всячески поощрялись.

Чистоплотность

Не обязательно нужно делать нечто грандиозное, чтобы привить человеку высокие моральные принципы и хорошие бытовые привычки. Нас приучали к бытовой чистоплотности на самых простых мелочах. Нас педантично заставляли мыть руки и ноги, стригли ногти и волосы, беспощадно воевали с соплями и вообще с неопрятностью. Тем, кто вырос и живет в современных гигиенических условиях, это покажется смешным или вообще не заслуживающим внимания. Но давно ли то время, когда в королевских дворцах водились вши, когда придворные красавицы не могли раскрывать рот из-за гнилых зубов, когда королевские парки были загажены из-за отсутствия уборных? В наших деревенских условиях и с большой семьей борьба за бытовую чистоплотность играла не менее важную роль, чем борьба прусского наследного принца за признание ночного горшка при королевском дворе. Мы понятия не имели о простынях. Но матрацы, на которых мы спали, регулярно мылись и набивались свежим сеном. То, что Зиновьевы были «помещаны» на чистоте, было известно во всем районе. Потому районное и областное начальство, уполномоченные, агитаторы и другие визитеры обычно ночевали у нас.

Не менее педантично нам прививали моральную чистоплотность. Нам постоянно внушали, что греховно не только совершать плохие поступки, а даже про себя думать о них. Нас наказывали самым беспощадным образом, если мы делали что-либо недостойное репутации нашей семьи. Что о нас подумают люди — это действовало на нас как удар хлыста.

Нам категорически запрещалось употребление бранных слов и скабрезностей. Я не помню ни одного случая, чтобы дедушка, бабушка и родители ругались матом. Считалось, что чистота речи есть выражение чистоты души. Это прочно въелось в натуру. Я потом служил в кавалерии и в авиации, где на каждое нормальное слово употреблялось два похабных. Я же никогда таких слов не употреблял. В Москве после войны я постоянно вращался в интеллектуальных кругах, в которых все более входил в моду мат. Я не поддался этой эпидемии. Некоторые мои критики без всяких оснований приписали мне употребление мата в моих романах. Я описал и высмеял это явление, но никогда не использовал мат как литературное средство. Я считаю это признаком культурной и моральной деградации, а не прогресса.

Веселая бедность

Хотя мы все усердно работали, я не могу сказать, что мы имели в достатке еду и одежду. Одежду нам перешивали из старых вещей. Мы донашивали то, что оставалось от старших

братьев и сестер. Обновы нам делали только в крайних случаях и к праздникам. Обычно мы недоедали и постоянно испытывали голод. Мясо ели редко и мало. Физическая усталость и скромное питание задерживали наше формирование. Я начал регулярно бриться лишь после того, как мне исполнилось двадцать лет. Моей первой женщиной стала моя первая жена. Мне тогда было двадцать один год.

Несмотря на бедность в современном смысле слова, жили мы весело. Мы не воспринимали свое положение как бедность. Мы вообще не оценивали его в этом плане. Я не помню ни одного случая, чтобы в нашем доме говорили о богатстве и бедности как о чем-то таком, что касалось нас лично. Достижение богатства не входило в круг наших интересов. Наше сознание имело иную ориентацию. В нашем доме всегда было много народу. Зимой у нас подолгу жили портные, сапожники, валяльщики валенок. Они делали одежду не только для нашей семьи, но и для всей деревни. Они были веселыми шутниками и рассказывали много интересного. Особенно веселое время наступало, когда из Москвы приезжали дед, отец и брат. Они привозили сахар, конфеты, белый хлеб, городские вещи, книги с картинками, цветные карандаши, резиновые мячи. В гости к нам приходили многочисленные родственники и друзья. Жизнь становилась яркой и праздничной.

Я

Я родился шестым по счету ребенком в семье. По рассказам бабушки, мать работала весь день, как обычно, в поле. Вечером родила меня. Через три часа она уже доила корову. На другой день работала так, как будто ничего особенного не случилось. Лишь прибегала домой на минутку покормить меня. Ничего из ряда вон выходящего в этом действительно не было. Детей тогда рождалось необычайно много. А заменить баб на работе было некому.

Время было голодное. Я был очень слаб. Все были уверены, что я не выживу. Дед заблаговременно заготовил гробик. Гробик потом долго валялся на чердаке.

Целый год я плакал беспрерывно. Потом вдруг перестал плакать, причем насовсем. Ничто не могло выдавить из меня ни слезинки. Однажды бабушка застала меня за попыткой курить. Она основательно побила меня за это. Но ее попытка заставить меня плакать не удалась, и она сама из-за этого заплакала. За это я получил взбучку от матери: я должен был пожалеть бабушку и сделать вид, будто плачу. Что касается курения, то бабушка устроила мне такое лечение, что я после него двадцать лет не мог выносить одного запаха табака. С большим отвращением начав курить, я так и не стал заядлым курильщиком и без особых усилий бросил курить насовсем. Бабушкин метод заключался в следующем. Она свернула самокрутку из махорки длиной сантиметров двадцать, заставила меня выкурить ее, а потом заставила съесть чашку сливочного масла. После такого «лекарства» меня выворачивало наизнанку два дня.

По рассказам взрослых, я рано начал говорить и был острым на язык. В округе долго вспоминали, например, такой случай. В гости к нам приехал дальний родственник, у которого были необычайно большие уши. Они произвели на меня сильное впечатление. Я сказал ему, что такие красивые уши есть еще только у нашего Соколки. Соколка был наш мерин, известный во всей округе огромными ушами. После этого о нашем злосчастном родственнике стали говорить как о человеке, у которого уши как у зиновьевского Соколки. Он обиделся и у нас больше никогда не появлялся.

Я рано начал осознавать себя. Одно из самых ранних воспоминаний — о том, как я выпил глоток водки из рюмки зазевавшегося гостя и изображал пьяного. Мне было два года. Я также очень рано научился читать и писать, глядя на старших сестер. Кроме того, у нас квартировала учительница. Она ради забавы начала обучать меня письму, чтению и счету. В школу я пошел сразу во второй класс. Учительница хотела перевести сразу в третий, но воспротивилась мать по очень простой причине: моя сестра ходила во второй класс. Если бы я пошел в третий класс,

на следующий год мне пришлось бы одному ходить в школу за восемь километров от нашей деревни, где было четыре класса.

Учеба

Учился я охотно и легко. Способность к обучению я сохранил до сих пор. Если бы существовала профессия вечного ученика, дающая средства существования, я, скорее всего, избрал бы ее. Когда человек перестает учиться, он вступает в стадию старости. А это я не могу себе пока позволить.

Бумаги в то время было мало. Нам выдавали маленькие кусочки на целый день. И учебников было мало. Поэтому приходилось развивать способности делать упражнения в голове и запоминать материал наизусть. Я в этом отношении достиг виртуозности, запоминая с одного раза целые страницы учебников и умножая в уме многозначные числа. В четвертом классе я выступал с такими «номерами» в школьной самодеятельности. На наши «концерты» приходили взрослые из окружающих деревень. Мои «фокусы» с запоминанием и с числами производили на них потрясающее впечатление. Способность запоминать длинные тексты и проделывать в уме сложные вычисления и вообще логические операции я укрепил и развил затем специальными упражнениями. Благодаря этой способности я никогда не пользовался записными книжками. Вместе со способностью запоминать я развил также способность забывать то, что не надо было помнить.

Постепенно я выработал свои приемы запоминания, избавляющие от необходимости запоминать все. Я запоминал минимум, но такой, по которому мог восстановить остальное. Став профессиональным логиком, я идентифицировал свои приемы как логические правила организации множеств понятий и суждений. Эта способность логически организованного запоминания пригодилась мне в аккумулировании в голове огромного материала, что было чрезвычайно важно в ненормальных условиях моей жизни. Я до сих пор держу в голове большие резервы для литературной, публицистической и научной работы. Один журналист спросил меня, когда я оказался на Западе, как мне удалось вывезти из России мои архивы. По его мнению, это должны были быть вагоны бумаг. Я сказал ему, что вывез все мои архивы в голове. Он не поверил. Но я сказал правду. С той лишь разницей, что в голове я вывез не множество слов, фраз и текстов, а способность восстанавливать слова, фразы и тексты определенного рода и в зависимости от определенной цели.

Задатки

От отца я усвоил страсть к рисованию. Я зарисовывал все, что попадалось под руки, даже книги и тетради. За это мне не раз попадало. Причем я рисовал по памяти, а не срисовывал с натуры, и выдумывал. Потом я стал изображать людей. И не просто абстрактных людей, а знакомых.

Хотя о портретном сходстве и речи быть не могло, почему-то все сразу узнавали, кого я изобразил. Я выбирал какую-то характерную черту изображаемого и рисовал не столько человека, сколько эту черту. Обычно это была черта характера, а не внешности. Забавно, что взрослые побаивались моих рисунков, дети часто плакали и жаловались родителям. Способность изображать характеры людей я потом дополнил способностью схватывать внешнее сходство. Много лет спустя мой знакомый врач-психиатр иногда просил меня рисовать его пациентов, так как мои рисунки помогали ему устанавливать диагноз.

Отсутствие способностей тоже играет важную роль в формировании характера человека. Наша семья была на редкость немузыкальна. Старший брат пиликал на гармони, как это было принято в среде молодых людей его поколения. Один из братьев играл на балалайке, но

немногим лучше Михаила. Старшая сестра обладала необычайно сильным, но совсем немузыкальным голосом. И слуха музыкального у нее не было никакого. Впрочем, это и не требовалось. Лучшей певицей считалась та, которая громче всех кричала песни. И в этом смысле моя сестра считалась лучшей певицей округи. Когда она с другими девчонками вечерами запевала частушки, ее было слышно за десять километров. Даже лошади вздрагивали, а куры просыпались на насесте.

Когда мне было пять лет, крестная мать привезла мне из Москвы гармонь. Несколько дней я отравлял жизнь семьи музыкальными упражнениями. Но, к счастью, мне это скоро надоело. Вооружившись ножницами, я уединился и разрезал гармонь на части, чтобы познать секрет музыки. Но никакого секрета внутри гармони не оказалось. Мать не наказала меня за то, что испортил ценную вещь. Она лишь сказала слова, которые врезались мне в память на всю жизнь: все секреты надо искать прежде всего в своей голове.

Роль в коллективе

Детей в деревне было много. В течение многих лет они проводили время вместе. Так что тут образовывался более или менее устойчивый детский коллектив из детей различных возрастов и характеров. В детском коллективе в значительной мере выяснялось и предопределялось то, каким становился человек в социальном, психологическом и моральном отношении. Есть общие законы коллективной жизни, имеющие силу и для детских коллективов. Порою они тут действуют с большей ясностью и откровенностью, поскольку дети еще не умеют так притворяться и маскировать свою натуру, как взрослые.

В нашем детском коллективе мне постепенно навязали роль, соответствующую моим природным склонностям. Мы играли, конечно. Я играл с азартом, добросовестно, неутомимо. При этом я никогда не претендовал на роль вождя или начальника. Я выдумывал игры, увлекал других. Но всегда уступал формальное руководство тем, кто стремился к этому. Я выполнял самые трудные задачи, требовавшие индивидуальной ловкости, изобретательности, смелости и самоотверженности. Но повторяю, я никогда не был вожаком коллектива и не стремился командовать другими. Во взрослом состоянии мне выпадала возможность сыграть роль вожака или начальника, но я от этого уклонялся или стремился поскорее избавиться. В армии, став сержантом и затем офицером, я так и не научился командовать подчиненными. У меня не было командирского голоса, как не было голоса музыкального. Я обычно становился инициатором и фактическим организатором дела группы, но всегда оставался в тени и предоставлял возможность выглядеть руководителями тем, кто подходил для этой роли формально.

Физически я был очень вынослив. Хорошо бегал, ездил верхом, нырял, лазил по деревьям. Неплохо дрался и никогда не уклонялся от драк, если даже противники превосходили меня по силе. Более того, именно в таких случаях я дрался с особым остервенением. Я первым прыгал в речку, когда на полях еще лежал снег. Первым шел в темное место, где чудилась нечистая сила или опасность. Первым брал на себя вину за общие проказы. Эта роль порою дорого обходилась мне, но я все же играл ее охотно. Я вовсе не горжусь ею сейчас. Я лишь описываю ее как одну из ролей индивидов в коллективе, доставшуюся мне по ряду причин, от меня не зависевших. И среди этих причин власть коллектива была далеко не на последнем месте. Роль отщепенца, которую мне предстояло сыграть ценою целой жизни, тоже была в какой-то мере навязана мне обществом.

Я всегда с увлечением принимал участие в коллективных мероприятиях. Наградой за мою роль в них было сознание того, что я делал больше и лучше других, и другие члены коллектива видели это и ценили. Ничего, кроме признания и справедливой оценки сделанного мною, я не хотел для себя. Желание, чтобы кто-то видел, что я делаю, что я на самом деле из себя представляю, чтобы кто-то справедливо оценил мое поведение и результаты моей дея-

тельности, стало одной из основных черт моего характера. В книге «Зияющие высоты» я выразил это в «Молитве верующего безбожника». Тот факт, что в реальности общественная оценка человека, как правило, не совпадает с его сущностью, постоянно причинял мне страдания. Сначала я недоумевал по этому поводу. Потом понял, что это есть закономерное явление. Но легче от такой мысли не стало.

Самовоспитание

Я очень рано начал заниматься самовоспитанием. Разумеется, сначала я не осознавал его как таковое. Это было мальчишеское поведение, переросшее в сознательное делание себя по определенным образцам. Приведу несколько примеров. Мы устраивали соревнования, кто дольше выдержит щекотку или боль. Я заставил себя держаться дольше других. Такая необычная тренировка пригодилась мне впоследствии не раз. Однажды мы забрались в помещение, где хранилась колхозная сметана и сливки, и съели чуть ли не все запасы, предназначенные для сдачи государству. Нас, конечно, разоблачили. Родителей оштрафовали, а нам устроили коллективную порку. Меня порол сам председатель колхоза, считавший меня зачинщиком. Порол вожжами. Порол убежденно и, можно сказать, с душой. Но я решил вытерпеть во что бы то ни стало, не просить пощады и не выдавать настоящего зачинщика. И вытерпел. Из этого я извлек урок: боль ощущается не так остро, если имеешь твердое решение выстоять.

В полях вокруг наших деревень построили вышки для геодезических измерений. Подниматься на них можно было по лестницам, доступ к которым был закрыт запертыми на замок дверями. Но на одной из «ног» вышек снаружи были приколочены перекладины, по которым можно было забраться наверх. Мы поспорили, что я смогу это сделать. Когда я начал подниматься, меня охватил ужас. Но отступать было поздно. Внизу стояли ребята и девчонки. Если бы я не полез до самого верха, меня засмеяли бы. Рухнула бы моя репутация. Пришлось лезть до конца. Потом я лазил на все вышки в округе уже без особых усилий над собой. Другой случай преодоления страха произошел, когда я учился в четвертом классе. Точно так же на спор я ночью один пошел на кладбище. Хотя я уже знал, что никакого Бога нет, было все равно жутко. Страшнее, чем лезть на вышку. Я и на сей раз пересилил страх. С тех пор у меня не было ни одного случая в жизни, чтобы я не преодолел чувство страха. И не было ни одного поступка, который я совершил бы под влиянием страха.

С годами я стал заниматься самовоспитанием вполне сознательно, стараясь следовать нравившимся мне литературным образцам. При этом моими героями никогда не были дети. Это были всегда взрослые. И среди живых я не видел образцов для подражания. Любопытно, что у меня никогда не появлялось желания что-то иметь только по той причине, что это имел кто-то другой. Со временем я возвел это в принцип: не подражать никому, не хотеть того, что имеют другие, но что не есть необходимый элемент твоей имманентной жизни.

Я не считаю, что делал себя по наилучшим образцам и наилучшим образом. Я не собираюсь конкурировать с другими в этом отношении. Я лишь констатирую как факт, что имел перед собой какие-то образцы человека и начал делать себя по ним еще в детстве. Потом и образцы эти отпали. И к проблеме самосоздания я стал подходить творчески: я решил сотворить существо, какого не было ни в реальности, ни в литературе.

Коллективизация

Самым значительным событием в деревне в период моего детства была коллективизация. В моем формировании и в моей судьбе она сыграла роль огромную. Потому остановлюсь на ней несколько подробнее.

Когда число людей, занятых поисками истины, превышает некий допустимый максимум, то в силу вступает закон: чем больше искателей истины, тем более чудовищные заблуждения порождают эти поиски. В таких случаях люди стремятся не столько к истине, сколько к удовлетворению своих личных целей за счет темы. Истина оказывается делом второстепенным. Тема советской коллективизации дает классический пример на этот счет. На эту тему написаны тонны слов. Найти в них крупицу истины еще труднее, чем найти жемчужину в навозной куче. Уже находясь в эмиграции, я пытался высказать о коллективизации то, что пережил сам и видел своими глазами, — на меня обрушили самые нелепые и несправедливые обвинения, в их числе — обвинения в защите сталинизма. И это делали в отношении человека, который в семнадцать лет встал на путь антисталинизма и пострадал из-за этого! Хотел бы я знать, как бы вели себя нынешние храбрые критики Сталина, если бы оказались в Советском Союзе в 1939 году!

В силу особенностей, о которых я говорил выше, наш район был всей предшествующей историей подготовлен к коллективизации. Думаю, что в этом отношении он был типичен для России. Крестьяне не были собственниками земли. Единоличность хозяйства заключалась лишь в том, что семья индивидуально использовала отведенные ей участки земли. Землю нельзя было продать и даже передать другим во временное пользование за плату. Революция ликвидировала помещичье землевладение. Производительность крестьянского труда была низкая. Продукты труда продавались лишь в исключительных случаях. Это не было источником регулярного дохода. Многие работы выполнялись коллективно (починка дорог, рытье прудов, сенокос). Коллективизация не была для крестьян чем-то абсолютно новым и неожиданным.

О колхозах стали говорить еще до того, как коллективизация началась практически. Неподалеку от нашей деревни возникла коммуна в духе идей социалистов-утопистов. Она стала предметом насмешек и скоро развалилась. Так что не любое насилие сверху могло быть принято массами крестьян. Если колхозы и были насилием, как принято теперь думать, то это было насилие особого рода: оно было формой организации добровольности. Иначе колхозы не уцелели бы, несмотря ни на какие репрессии. Ведь и в основе закрепощения крестьян в России в шестнадцатом и семнадцатом веках лежала добровольность. Суть проблемы рабства состоит не в том, почему людей заставляют становиться рабами, а в том, почему они позволяют превращать себя в рабов.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.